

Викентий Вересаев

Аполлон и Дионис



*Часть сборника
Живая жизнь*



Живая жизнь

Викентий Вересаев

Аполлон и Дионис

«Public Domain»

1914

Вересаев В. В.

Аполлон и Дионис / В. В. Вересаев — «Public Domain»,
1914 — (Живая жизнь)

«В книге своей «О рождении трагедии» молодой Ницше воскресил из греческой старины колоссальные образы двух главных эллинских божеств — Аполлона и Диониса. Образы эти удивительно ярко и полно воплощают два полярно противоположных жизнеощущения, которыми живет человечество и которые непрестанно борются друг с другом на протяжении всей его истории. Вот почему книга, написанная, казалось бы, на такую узкую, только для специалистов интересную тему — «О рождении эллинской трагедии из духа музыки», — стала книгою, которую должен знать всякий образованный человек...»

Содержание

I	5
II	10
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Викентий Викентьевич Вересаев

Аполлон и Дионис

(О Ницше)

I

«Рождение трагедии»

В книге своей «О рождении трагедии» молодой Ницше воскресил из греческой старины колоссальные образы двух главных эллинских божеств – Аполлона и Диониса. Образы эти удивительно ярко и полно воплощают два полярно противоположных жизнеощущения, которыми живет человечество и которые непрестанно борются друг с другом на протяжении всей его истории. Вот почему книга, написанная, казалось бы, на такую узкую, только для специалистов интересную тему – «О рождении эллинской трагедии из духа музыки», – стала книгой, которую должен знать всякий образованный человек.

Восстановим в общих чертах образы двух этих эллинских божеств, как их понимал Ницше.

Грек ранней стадии эллинской истории, грек гомеровский, воспринимал жизнь по-аполлоновски: он смотрел на блестящий мир явлений, на то, что индусы называют обманчивым покрывалом Маии, и принимал его за подлинную жизнь. Мир этот он мыслил во множественности, в формах времени и пространств, – в том, что Шопенгауэр называет *principium individuationis*. «В этой форме, – говорит Шопенгауэр, – человек видит не существо вещей, которое едино, а только его проявления, – особенные, отдельные, бесчисленные, многочисленные, даже противоположные». Человека с таким жизнеотношением Ницше, вслед за Шопенгауэром, уподобляет пловцу среди бурно ревущего моря. Беспредельное море, бушующая, вздымает и опускает водяные горы, а пловец спокойно сидит в лодке, доверяясь утлону своему суденышку, не чувствуя ужаса от бушующей кругом беспредельности. Так посреди мира мучений спокойно живет в своей отдельности человек, доверчиво опираясь на *principium individuationis*, на восприятие жизни в формах времени и пространства: безграничный мир, всюду исполненный страдания, в бесконечном прошедшем, в бесконечном будущем, ему чужд, даже кажется ему фантазией; действительно для него только одно – узкое настоящее, ближайшие цели, замкнутые горизонты.

В этой иллюзии держит человека Аполлон. Он – бог «обманчивого» реального мира. Околдованный чарами солнечного бога, человек видит в жизни радость, гармонию, красоту, не чувствует окружающих бездн и ужасов. Страдание индивидуума Аполлон побеждает светозарным прославлением *вечности явления*. Скорбь *вылывается* из черт природы. Охваченный аполлоновской иллюзией, человек слеп к скорби и страданию вселенной.

И вот в это царство душевной гармонии и светлой жизнерадостности вдруг врывается новый, неведомый гомеровскому человеку бог – варварский, дикий Дионис. Буйным исступлением зажигает он уравновешенные души и во главе неистовствующих, экстатических толп совершает свое победное шествие по всей Греции.

Бог страдающий, вечно растерзываемый и вечно воскресающий, Дионис символизирует «истинную» сущность жизни. Жизнь есть проявление божества страдающего. Создавая миры, божество освобождается от гнета избытка и преизбытка, от страдания теснящихся в нем контрастов. Вселенная есть вечно изменяющееся, вечно новое видение этого величайшего страдальца, исполненного контрастов и противоречий. Истинно существует только это первоединое, изначальное, наджизненное бытие; оно – вне всякого явления и до всякого явления.

Явление же есть только уподобление (знаменитый Гётевский стих: «Все преходящее – только подобье»).

Взор, однажды проникший в сокровенную «истину» жизни, уже не в состоянии тешиться обманчивым покрывалом Маии, блеском и радостью призрачного реального мира. Он теперь видит ужасы и скорби жизни, видит мир раздробленным, растерзанным; видит и первопричину мирового страдания – *principium in dividualionis*, расчленение первоначального, единого Существа на отъединенные, несогласимые между собою «явления». В пределах прежнего непонимания для человека нет уже возможности согласить чудовищные противоречия жизни, покрыть их каким-либо единством. Смысл жизни теряется. Однажды царю Мидасу, после больших усилий, удалось поймать в лесу мудрого Силена, спутника Диониса. Царь спросил его, в чем высшее счастье человека. Демон упорно отмалчивался, наконец, дико расхохотался и ответил:

– Злополучный, однодневный род, дети случая и нужды! Зачем заставляешь ты меня сказать то, чего самое лучшее для тебя не слышать? Высшее счастье тебе совершенно недоступно: *не родиться, не быть вовсе, быть ничем*. Второе же, что тебе остается, – скоро умереть.

Вот – безотрадная истина, подготовляющая человека к восприятию таинственной высшей истины бога-страдальца.

Дионис касается души человеческой, замершей в чудовищном ужасе перед раскрывшейся бездною. И душа преображается. В священном, оргийном безумии человек «исходит из себя», впадает в иступление, в экстаз. Грани личности исчезают, и душе открывается свободный путь к сокровеннейшему зерну вещей, к первоединому бытию. Это состояние блаженного восторга мы всего яснее можем себе представить по аналогии с опьянением. Либо под влиянием наркотического напитка, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении весны в человеке просыпаются те дионисические чувствования, в подъеме которых его «я» исчезает до полного самозабвения. Этого «я» уже нет, – нет множественности, нет пространства и времени, все – где-то далеко внизу. Об этом именно состоянии говорит у Достоевского Кириллов: «Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда!»

Под чарами Диониса каждый чувствует себя не только соединенным, примиренным, слитым со своим ближним, но единым с ним; сама отчужденная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном – человеком – и принимает его в свое лоно. Все слилось в одном огромном мистическом единстве. В человеке теперь звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя богом, он шествует теперь, восторженный и возвышенный; он разучился ходить и говорить, и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Человек стал в собственных глазах как бы художественным произведением: словно огромная творческая сила природы проявляется здесь, в трепете опьянения, для доставления высшего блаженного удовлетворения Первоединому.

Таким образом, Дионис, точно так же, как Аполлон, убеждает нас в вечной радости бытия; *только эту радость нам надлежит искать не в явлении, а позади явлений*. Мы познаем, что все возникающее должно быть готово к горестной гибели, мы заглядываем в ужасы личного существования – и тем не менее не приходим в отчаяние: метафизическое утешение моментально вырывает нас из суетной сферы переменчивых явлений. Мы действительно становимся на краткие мгновения самим Первосущим и чувствуем его неукротимое желание и жажду бытия: борьба, мучение, уничтожение явления кажутся нам теперь необходимыми при этом избытке бесчисленных, врывающихся в жизнь форм бытия, при этой чрезмерной плодовитости мировой Воли. Мы как бы слились воедино с безмерною, изначальною мировую радостью и в дионисовском восхищении чувствуем неразрушимость и вечность этой радости. Несмотря на страх и сострадание, несмотря на жестокость мировой Воли, мы все же – счастливо-живущие, но не как индивидуумы, а как единое Живое, с желаниями которого мы слились.

Ницше хорошо видел опасность, которую несет для жизни его радостный Дионис. Для дионисического человека резко пропастью отделяются друг от друга мир повседневной действительности и мир действительности дионисовской. Как только повседневная действительность снова вступает в сознание, она, как таковая, принимается с отвращением. Голое воспоминание о пережитом ощущении единства с Первосущим не в силах нейтрализовать страданий человека в мире явлений. Человек теперь видит повсюду абсурды и ужасы бытия, чувствует душою страшную мудрость лесного бога Силена. «Ему становится тошно», им овладевает волеотрицательное настроение: он познал – и действовать стало ему противно. Для чего снова укреплять расшатанный мир? Человек ничего не в состоянии изменить в существе вещей.

Действительно, при каждом значительном распространении дионисовских возбуждений всегда замечается, что дионисовское освобождение от оков личности прежде всего дает о себе знать умалением политических и общественных инстинктов, доходящим до равнодушия и даже до враждебного отношения к ним. Из области оргазма, – говорит Ницше, – для народа есть только один путь, – путь к индийскому буддизму; чтоб вообще быть выносимым с его влечением в Ничто, буддизм нуждается в этих редких состояниях экстаза с их подъемом над временем, пространством и индивидуальностью. А эти экстатические состояния, в свою очередь, требуют философии, учащей побеждать силою представления неописуемую безотрадность промежуточных состояний.

Однако дионисическому эллину не грозила опасность впасть в буддийское отрицание воли. Острым своим взглядом он видел страшное, разрушительное действие всемирной истории, видел жестокость природы, ощущал всю истинность мудрости лесного бога Силена – и тем не менее умел жить глубоко и радостно. Его спасала красота.

В сущности, та же красота спасала для жизни и додионисовского, гомеровского эллина. Когда ворвался в Грецию Дионис, уравновешенный с виду аполлоновский эллин смотрел на него с великим удивлением. Но к удивлению этому все больше примешивался ужас: сознание все сильнее говорило гомеровскому эллину, что дионисовское понимание жизни вовсе не так уже чуждо и ему самому. Он начинал чувствовать, что его бытие со всею красотой и ограничением покоится на скрытой подпочве страдания и познания, что его аполлоновское отношение к жизни, подобно покрывалу, только скрывает от него ясно им чуемую дионисову истину жизни.

Ницше вносит теперь значительную поправку в прежнюю картину отношения гомеровского эллина к жизни. Древний эллин, – говорит он, – всегда знал и испытывал страхи и ужасы бытия, ему всегда была близка страшная мудрость лесного бога Силена. Как, – спрашивает Ницше, – согласуется светлый мир Аполлона и остальных олимпийских божеств с этою зловещею мудростью? Так же, как восхитительные видения истязуемого мученика – с его страданиями. Чтоб вообще быть в состоянии жить, эллин должен был заслонить себя от ужасов бытия промежуточным художественным миром – лучезарными призраками олимпийцев. Та «гармония» древнего эллина, на которую мы смотрим с такою завистью, вовсе не была простою цельностью и уравновешенностью духа. В этой гармонии мы должны видеть высшее действие аполлоновской культуры, которая, при помощи мощных и радостных иллюзий, вышла победительницей над страшною глубиною мирозерцания и над крайне восприимчивым чувством страдания. Гармония аполлоновского грека обуславливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, она – цветок, выросший из мрачной пропасти, победа, одержанная эллинскою волею, посредством отражения своей красоты, над страданием и мудростью своей.

Этот целебный обман Аполлона спасал для жизни грека гомеровского. Позднейшего, дионисического грека спасала трагедия. В ней взаимодействие дионисовой «истины» и аполлоновой «иллюзии» достигло наибольшей глубины и гармоничности.

Но как же может трагедия вести к утверждению жизни? Ведь страдания трагического героя иллюстрируют все ту же безотрадную Силенову мудрость; трагедии великих трагиков, Эсхила и Софокла, кончаются гибелью героев и самым, казалось бы, безнадежным отрицанием

жизни. Почему же трагедия не вселяет в нас отчаяния, а как раз напротив – очищает душу и примиряет с жизнью? Как может безобразное и дисгармоничное, составляющее содержание трагического мифа, каким бы то ни было образом примирять с жизнью? Достигается это тою таинственной силою, которая скрыта в искусстве, – силою, которая жизненный ужас претворяет в красоту и делает его предметом нашего эстетического наслаждения.

Удивительно глубоко, смело и оригинально Ницше рисует тот сложный душевный процесс, который, по его мнению, переживался эллином при созерцании трагедии.

В хоре трагедии, и особенно в ее музыке (кстати сказать, нам совершенно неизвестной), свободно проявлялась вся безмерность дионисовской скорби, радости и отчаяния. Эта музыка, разверзающая перед нами вихревые бездны дионисовской стихии, сама по себе заставила бы нас задохнуться от ужаса и пасть бездыханными. Но тут внезапно приходит Аполлон и несет с собою целебный бальзам благодатного художественного обмана в виде образа трагического героя. Мы созерцаем страдания и гибель Прометея или Эдипа, и это созерцание вырывает нас из нашего оргиастического самоуничтожения; частная картина мук гибнущего героя заслоняет от нас общность того, что нас заставила почувствовать дионисическая музыка: там, где прежде мы как бы слышали глухие вздохи из самого средоточия бытия, где, казалось, мы должны были погибнуть в судорожном напряжении всех чувств, и лишь немного еще связывало нас с этим существованием, – там мы теперь видим и слышим только страдания и стоны данных героев – Прометеев, Эдипов. Однако рядом с этим мы все время чувствуем, что эти пластические образы героев – лишь символическая картина, что за ними плещется необъятная дионисова стихия и говорит нам о высшей радости, к которой готовится трагический герой, – но не своими победами, а своею гибелью. Мы чувствуем всю отраду аполлоновской иллюзии и созерцания и, вместе с тем, отрицаем эту отраду и получаем еще более высокое удовлетворение от уничтожения видимого, кажущегося мира. Мы убеждаемся, что даже безобразное и дисгармоническое в жизни есть только художественная игра, которую Воля, в вечном избытке своей радости, ведет сама с собою, – игра созидания и разрушения индивидуального мира. Жизнь творится великим Художником, и конечная цель его творчества – красота. Для этой красоты одинаково необходимы радость и горе, добро и зло, свет и мрак. Перед нами раскрывается край, где в радостных аккордах замирает всякий диссонанс, тонет страшная картина мира и оправдывается существование даже нашего «худшего из миров».

Человек, – заключает Ницше, – это диссонанс в человеческом образе. Для возможности жить этому диссонансу требуется прекрасная иллюзия, облекающая покровом красоты его собственное существо. Бытие и мир являются оправданными лишь в качестве эстетического феномена.

В книге своей Ницше все время говорит о дионисовой «истине» и аполлоновом «обмане». Сами эллины никогда, однако, не смотрели на Аполлона как на бога «светлой кажимости» и «обманчивой иллюзии», в образе его нет ни единой черты, которая бы говорила о заранее предрешенной иллюзорности воплощаемого им жизнеотношения. Для эллинов как Аполлон, так и Дионис одинаково были живыми религиозными реальностями, каждый из них воплощал совершенно определенный тип религиозного отношения к жизни. Противопоставлять «истину» Диониса «обману» Аполлона может только убежденный приверженец Диониса. Мы будем осторожнее. Что есть истина? Тот бог, который царит в душе человека, для него и есть истина жизни. Жизнь же сама в себе нам недоступна.

Аполлон не будет для нас божеством, набрасывающим на истину блестящий покров «иллюзии», Дионис не будет божеством, сбрасывающим этот светлый, обманчивый покров с «истины». И тот, и другой бог будут для нас лишь фактами различного религиозного отношения к жизни.

Познакомимся же с обоими помимо Ницше, исследуем, каково было отношение к жизни у эллина аполлоновского и у эллина дионисовского, что такое представляли из себя боги Апол-

лон и Дионис. По времени своего царствования над душами эллинов Аполлон предшествовал Дионису. Рассмотрим сначала и мы аполлоновский тип отношения к жизни, как он выражается в поэмах Гомера и лирике Архилоха, с одной стороны, в самом образе Аполлона – с другой.

II

Священная жизнь

Года три назад я был в Греции. Наш пароход отошел от Смирны, обогнул остров Хиос и шел через Архипелаг к Аттике. Солнце село, над морем лежали тихие, жемчужно-серые сумерки. В теплой дымке медленно вздымались и опускались тяжелые массы воды. Пароход резал волны, в обеденном зале ярко горели электрические огни, в салоне играли Шопена. Я стоял на палубе и жадно, взволнованно смотрел вдаль.

Вдруг, в нескольких саженях от борта, над волнами мелькнуло какое-то темное существо – изогнулось и бесшумно исчезло в воде. Я отчетливо различил длинное, блестящее, черное человеческое тело с рыбьим хвостом. Это был – Тритон... Да, не дельфин, а Тритон. В том волнении радости и ожидания, которое было в душе, я ясно увидел *его* – таинственного, темного бога морских пучин. И странный, необычный трепет пробежал по душе: он здесь! Мудрый, божественный сын Амфитриты, он, чья вещая речь звучит в смутном говоре волн, – он здесь, всего в нескольких саженях от меня. Вот опять мелькнул в воздухе темным своим телом и нырнул в волны. И море кругом вдруг стало другим – серьезным, священно-таинственным, таящим в недрах своих бога. И в мертвом говоре волн слышалась речь живая и значительная. И все кругом стало другим.

Утром в далекой дымке открылись бурые, пустынные берега Аттики, на юге синели под солнцем благородные очертания пелопоннесских гор. И я уже с другим настроением смотрел на прекрасную страну, медленно выраставшую из лазурной дали. Я чувал теперь не жившую там когда-то *красоту*, а что-то совсем другое.

Это настроение уже не покидало меня и в самой Греции. Все время во мне жило чувство, которое я испытал, когда в волнах Эгейского моря увидел живого Тритона... Отпечатки козьих копыт у ручья. Кто это был здесь? Вислоухие греческие козы с толстоногими козлятами пили воду, или веселые забияки-сатиры спускались сюда утром вон из той рощи?

Кажется, девичий громкий вблизи мне слышался голос.
Что это, – нимфы ль играют, владелицы гор крутоглавых,
Влажных, душистых лугов и истоков речных потаенных?
Или достиг, наконец, я жилища людей говорящих?

(Одисс. VI 122–125).

Едем с проводником на ослах по горной тропинке. Ухнуло что-то в горах, где-то что-то откликнулось и покатилося раскатами. Камень ли это сорвался в ущелье, или увенчанный хвойным венком Пан дико крикнул с лесистой вершины, и ему откликнулась шаловливая нимфа?

Мне ясно стало, что ведь подобные вопросы каждую минуту *вправду* мелькали в голове древнего обитателя здешних мест. Для него вправду всюду кругом дышала таинственная, невидимая, но ясно им ощущаемая жизнь. В деревьях скрывались Дриады, Мелии и Кариатиды, на перекрестке дороги стоял благостный Гермес-Энодий, розоперстая, вечно бодрая Эос-Заря окропляла росой пробуждавшуюся от сна землю, и увенчанная фиалками Афродита внимала молитвам влюбленной девушки. Вся жизнь вокруг была священна и божественна.

В стихотворении своем «Боги Греции» Шиллер горько тоскует и печалуется о «красоте», ушедшей из мира вместе с элинами. «Тогда волшебный покров поэзии любовно обвивался еще вокруг истины, – говорит он, совсем в одно слово с Ницше. – Тогда только прекрасное было священным... Где теперь, как утверждают наши мудрецы, лишь бездушно вращается

огненный шар, – там в тихом величии правил тогда своей золотой колесницей Гелиос... Рабски служит теперь закону тяжести обезбоженная природа».

Мне раньше нравилось это стихотворение. Теперь я почувствовал, как чудовищно неверно, как фальшиво передает оно жизнеощущение древнего эллина. Вовсе он не обвинял истины священным покровом поэзии, не населял «пустой» земли прекрасными образами. Земля для него была полна жизни и красоты, жизнь была прекрасна и божественна, – не покров жизни, а жизнь сама. И не потому она была прекрасна и божественна, что

На горах мелькали Ореады,
И Дриада в дереве жила.

Вовсе нет! Божественно прекрасные Ореады и Дриады именно потому и наполняли мир, что сам мир был для эллина прекрасен и божествен. Только выражением переполнявшей душу эллина жизни и были его прекрасные боги. И если бы мудрецы объяснили ему, что по небу движется не Гелиос, а «бездушно вращающийся шар», это не сделало бы для него мир пустым. И если бы он узнал, что природа «рабски повинуется закону тяжести», – она для него от этого не обезбожилась бы. Потому что неискоренимо крепко было в душе эллина основное чувствование живой жизни мира.

Перечитайте Гомера, откиньте всех богов, которых он выводит. Вы увидите, что, помимо них, божественная стихия священной жизни насквозь проникает гомеровы поэмы, – так проникает, что выделить ее из поэм совершенно невозможно. Ко всему, что вокруг, человек охвачен глубоко религиозным благоговением, – тем *просто* уважением, которое так восхищает Толстого. Все для человека полно торжественной значительности. –

Все, – и излучины длинных дорог, и залив меж стенами
Гладких утесов, и темные сени дерев черноглавых

«Божественное море», «священные реки». «Святые долины», «священные города». Люди веют хлеб на «святых гумнах»; жаря на вертеле мясо, посыпают его «божественною солью»; кушанье готовят из «святого ячменя». Божественны «священный день», «священные сумерки»; божественна «бессмертная ночь», и сам Зевс страшится оскорбить ее, отыскивая ослушников под ее покровом. Люди – «благородные», «божественные», «богоравные», – и не только цари и герои, но даже рабы-свинопасы; и не только друзья, но и враги, – «божественный Гектор», «богоподобный Парис». Свято основное существо человека – сила. И, вместо того, чтобы сказать: «Телемах», «Алкиной», Гомер говорит: Телемахова сила святая, Алкиноева сила святая. В более ранней священной поэзии это выражение – «сила святая» – прилагалось к богам. Гомер переносит его на людей.

Только тогда, когда мы почувствуем это основное, из душевных глубин идущее отношение древнего эллина к жизни, – тогда только нам станет понятна и его религия. Для нас станет очевидным, что не светлые его боги создавали в эллине описанное выше жизнеощущение, а, наоборот, само это жизнеощущение непрерывно рождало из себя богов. И в гомеровых поэмах мы живо ощущаем ту еще бесформенно-священную стихию, из которой как бы на наших глазах формируются боги. Амвросийная Ночь, розоперстая Заря-Эос – богини ли уже это, или только еще смутные олицетворения? Кто такая Необходимость (Ананке) – богиня или отвлечение? Вот перед нами уж совершенно бесформенная священность – домашний очаг (*histia*). Люди клянутся «гистией», поминают ее рядом с Зевсом, «высочайшим и лучшим из богов». Но это не богиня, это именно только священный домашний очаг. И лишь у последующих поэтов – у Гесиода и у автора гимна к Афродите – это бесформенное священное нечто формируется в богиню Гистию или Гестию (римск. Веста) – «целомудренную деву», дочь Крона и Реи.

Еще и еще раз: нет, не правы были Шиллер и Ницше, утверждая, что древний эллин радостно-светлым покровом поэзии обвивал темную, скорбную истину. Истина стояла перед ним без всякого покрова, и она сама, в подлиннейшей своей сущности, была для него божественно-светла и божественно-радостна.

Но как может быть жизнь светла и радостна, когда в ней столько ужасов и скорбей? Возможно ли, чтоб человек не видел этих ужасов?

Нечего говорить, что для древнего эллина мир вовсе не был так идиллически благополучен, так неизменно ласков, как рисует Шиллер. Если бы это было так, то мы имели бы перед собою очень мало интересную религию блаженных идиотов, одинаково радостно улыбающихся на ласку и удары, на счастье и скорбь.

Шиллер восхищается:

Этот лавр о помощи молился,
Дочь Тантала в камне том молчит...

Но ведь в лавр была превращена нимфа, спасавшаяся от грубого насилия бога. В камень превратилась дочь Тантала Ниоба от безмерной скорби по убитым богами детям. Для верующего эллина это были не красивые легенды, украшавшие природу, это был самый подлинный ужас.

Несомненно, ужасы, скорби и несправедливости жизни тонко и остро чувствовались гомеровским эллином. Все сильное, прекрасное и героическое обречено у Гомера на печальный конец. Большинство героев Троянской войны гибнет либо под стенами Трои, либо по взятии ее, либо при возвращении домой. Грубо и самовластно вмешиваются боги в человеческую жизнь, портят ее и уродуют. В бедах людских виноваты не сами люди, а это вмешательство высших сил, мало доступных человеческому воздействию. Не было бы ни странствий Одиссея, ни самой Троянской войны, если бы боги оставили людей в покое и с жестоким равнодушием не пользовались ими для своих целей. А выше беспомощных людей и самовластных богов стоит слепой, могучий и беспощадный Рок, и все совершается так, как он заранее постановит. Понимание жизни – самое черное и безнадежное.

Действительно, попробуем прочесть гомеровы поэмы не как интересный «памятник литературы», – попробуем поверить в то, во что верит Гомер, попробуем всерьез принимать то, что он рассказывает. Мы тогда увидим: что же это был за ужас – жить и действовать в тех условиях, в каких находились гомеровы герои!

Все время боги становятся людям поперек дороги, ни на одну минуту не дают возможности свободно развернуть свои силы. Боги предопределяют исход боя, посылают ужас на храбрых, сильными делают слабых, вырывают своих поверженных любимцев из-под копья и уносят их в темном облаке. Зевс посылает Агамемнону лживый сон, чтобы побудить его к бою, в котором греки будут разбиты. Умиравший Патрокл знает, что поверг его не Гектор, с которым он сражался, а стоявший за Гектором Аполлон:

Боги меня победили.
Им то легко. От меня и доспехи похитили боги.

Непрерывно боги вмешиваются даже в невинные спортивные состязания и доставляют победу своим любимцам путями, для смертных совершенно непозволительными. Одиссей и Аякс Оилид состязаются в беге. Афина заставляет поскользнуться побеждающего Аякса и таким образом дает победу покровительствуемому ею Одиссею. И Аякс говорит:

«Дочь Громовержца, Афина, друзья, повредила мне ноги:
Вечно, как мать, она Одиссею на помощь приходит!»
Так произнес он. И смех по собранью веселый раздался.

Если бы смертный подставил ножку бегущему, чтоб доставить победу своему приятелю, – это вызвало бы, конечно, не веселый смех, а негодование.

Необходимо совершенно отрешиться от укоренившихся в нас религиозных представлений, чтоб понять такое отношение к божеству. Гомеровские боги – это религиозные символы окружающих нас в жизни сил. Достаточно было только смотреть прямо в глаза жизни, и человек мог видеть, что к силам этим неприложимы нравственные мерки. Они аморальны и не считаются с человеком. И в то же время они могучи и неодолимы. Мы эти силы называем законами природы, случайностью, необходимостью. Гомер видит в них проявление живой воли божества, действия реально существующей Судьбы. Но существо дела остается тем же. Человек окружен таинственными силами, не знающими справедливости, не подвластными человеку и все время влияющими на него. И не только снаружи действуют эти силы – они действуют и на душу самого человека. Храбро бьются ахейцы против Гектора; но потряс перед их глазами своею ужасною эгидою Аполлон, –

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.